

С девяти лет и до подросткового возраста я проводил по крайней мере два дня в неделю в городской библиотеке в Уокингане (штат Иллинойс).

А летними месяцами вряд ли был день, когда меня нельзя было найти там, прячущимся за полками, вдыхающим запах книг, словно заморских специй, пьянеющим от них ещё до чтения.

Позже, молодым писателем, я обнаружил, что лучший способ вдохновиться — это пойти в библиотеку Лос-Анджелеса и бродить по ней, вытаскивая книги с полок, читать — строчку здесь, абзац там, выхватывая, пожирая, двигаться дальше и затем внезапно писать на первом попавшемся кусочке бумаги. Часто я стоял часами за столами-картотеками, царапая на этих клочках бумаги (их постоянно держали в библиотеке для записок исследователей), боясь прерваться и пойти домой, пока мной владело это возбуждение.

Тогда я ел, пил и спал с книгами — всех видов и размеров, цветов и стран. Это проявилось позже в том, что, когда Гитлер сжигал книги, я переживал это так же остро, как и, простите меня, когда он убивал людей, потому что за всю долгую историю человечества они были одной плоти. Разум ли, тело ли, кинутые в печь, — это грех,

и я носил это в себе, проходя мимо бесчисленных дверей пожарных станций, похлопывая служебных собак, лобуясь своим длинным отражением в латунных шестах, по которым пожарные съезжают вниз. И я часто проходил мимо пожарных станций, идя и возвращаясь из библиотеки, днями и ночами, в Иллинойсе, мальчиком.

Среди записок о моей жизни я обнаружил множество страниц с описанием красных машин и пожарных, грохочущих ботинками. И я вспоминаю одну ночь, когда я услышал пронзительный крик из комнаты в доме моей бабушки, я прибежал в ту комнату, распахнул дверь, чтобы заглянуть вовнутрь, и закричал сам.

Потому что там, карабкаясь по стене, находился светящийся монстр. Он рос у меня на глазах. Он издавал мощный ревуший звук, словно из печи, и казался фантастически живым, когда он питался обоями и пожирал потолок.

Это был, конечно, огонь. Но он казался ослепительным зверем, и я никогда не забуду его и то, как он заворожил меня, прежде чем мы убежали, чтобы наполнить ведро и убить его насмерть.

Наверное, эти воспоминания — о тысячах ночей в дружелюбной, тёплой, огромной темноте, с лужами зелёного света ламп, в библиотеках, и пожарных

станциях, и зловном огне, посетившем наш дом
собственной персоной, — соединившись позже
со знанием о новых нестеряемых материалах,
послужили тому, чтобы «451 градус по Фаренгейту»
вырос из записок в абзацы, из абзацев — в повесть.
«451 градус по Фаренгейту» был полностью написан
в здании библиотеки Лос-Анджелеса, на платной
пишущей машинке, которой я был вынужден
скармливать десять центов каждые полчаса.

Я писал в комнате, полной студентов, которые
не знали, что я там делал, точно так же,
как я не знал, что они там делали.

Наверное, какой-то другой писатель работал
в этой комнате. Мне нравится так думать.
Есть ли лучшее место для работы, нежели глубины
библиотеки?

Но вот я ухожу и передаю Вас в руки
самого себя, под именем Монтег, в другой год,
с кошмаром, с книгой, зажатой в руке, и книгой,
спрятанной в голове.

Пожалуйста, пройдите с ним небольшой путь.

Ray Bradbury

1966 год

Если тебе дадут
линованную бумагу,
пиши поперёк.

Хуан Рамон
Хименес

ЧАСТЬ 1

ОЧАГ И САЛАМАНДРА

Жечь было наслаждением. Какое-то особое наслаждение видеть, как огонь пожирает вещи, как они чернеют и меняются. Медный наконечник брандспойта зажат в кулаках, громадный питон изрыгает на мир ядовитую струю керосина, кровь стучит в висках, а руки кажутся руками диковинного дирижёра, исполняющего симфонию огня и разрушения, превращая в пепел изорванные, обуглившиеся страницы истории. Символический шлем, украшенный числом 451, низко надвинут на лоб, глаза сверкают оранжевым пламенем при мысли о том, что должно сейчас произойти: он нажимает воспламенитель — и огонь жадно бросается на дом, окрашивая вечернее небо в багрово-жёлто-чёрные тона. Он шагает в рое огненно-красных светляков, и больше всего ему хочется сделать сейчас то, чем он так часто забавлялся в детстве, — сунуть в огонь прутик с леденцом, пока книги, как голуби, шелестя крыльями-страницами, умирают на крыльце

и на лужайке перед домом, они взлетают в огненном вихре, и чёрный от копоти ветер уносит их прочь.

Жёсткая улыбка застыла на лице Монтэга, улыбка-гримаса, которая появляется на губах у человека, когда его вдруг опалит огнём и он стремительно отпрянет назад от его жаркого прикосновения.

Он знал, что, вернувшись в пожарное депо, он, менестрель огня, взглянув в зеркало, дружески подмигнёт своему обожжённому, измазанному сажей лицу. И позже в темноте, уже засыпая, он всё ещё будет чувствовать на губах застывшую судорожную улыбку. Она никогда не покидала его лица, никогда, сколько он себя помнит.

Он тщательно вытер и повесил на гвоздь чёрный блестящий шлем, аккуратно повесил рядом брезентовую куртку, с наслаждением вымылся под сильной струёй душа и, насвистывая, сунув руки в карманы, пересёк площадку верхнего этажа пожарной станции и скользнул в люк. В последнюю секунду, когда катастрофа уже казалась неизбежной, он выдернул руки из карманов, обхватил блестящий бронзовый шест и со скрипом затормозил за миг до того, как его ноги коснулись цементного пола нижнего этажа.

Выйдя на пустынную ночную улицу, он направился к метро. Бесшумный пневматический поезд



ЖЁСТКАЯ УЛЫБКА ЗАСТЫЛА НА ЛИЦЕ МОНТЭГА, УЛЫБКА-ГРИМАСА,
КОТОРАЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ НА ГУБАХ У ЧЕЛОВЕКА, КОГДА ЕГО ВДУРУ ОПАЛИТ ОГНЁМ...

поглотил его, пролетел, как челнок, по хорошо смазанной трубе подземного туннеля и вместе с сильной струёй тёплого воздуха выбросил на выложенный жёлтыми плитками эскалатор, ведущий на поверхность в одном из пригородов.

Насвистывая, Монтэг поднялся на эскалаторе навстречу ночной тишине. Не думая ни о чём, во всяком случае, ни о чём в особенности, он дошёл до поворота. Но ещё раньше, чем выйти на угол, он вдруг замедлил шаги, как будто ветер, налетев откуда-то, ударил ему в лицо или кто-то окликнул его по имени.

Уже несколько раз, приближаясь вечером к повороту, за которым освещённый звёздами тротуар вёл к его дому, он испытывал это странное чувство. Ему казалось, что за мгновение до того, как ему повернуть, за углом кто-то стоял. В воздухе была какая-то особая тишина, словно там, в двух шагах, кто-то притаился и ждал и лишь за секунду до его появления вдруг превратился в тень и пропустил его сквозь себя.

Может быть, его ноздри улавливали слабый аромат, может быть, кожей лица и рук он ощущал чуть заметное повышение температуры вблизи того места, где стоял кто-то невидимый, согревая воздух своим теплом. Понять это было невозможно. Однако, завернув за угол, он всякий раз видел лишь белые плиты

пустынного тротуара. Только однажды ему показалось, будто чья-то тень мелькнула через лужайку, но всё исчезло, прежде чем он смог взглядеться или произнести хоть слово.

Сегодня же у поворота он так замедлил шаги, что почти остановился. Мысленно он уже был за углом — и уловил слабый шорох. Чьё-то дыхание? Или движение воздуха, вызванное присутствием кого-то, кто очень тихо стоял и ждал?

Он завернул за угол.

По залитому лунным светом тротуару ветер гнал осенние листья, и казалось, что идущая навстречу девушка не переступает по плитам, а скользит над ними, подгоняемая ветром и листвой. Слегка нагнув голову, она смотрела, как носки её туфель задевают кружащуюся листву. Её тонкое, матовой белизны лицо светилось ласковым, неутолимым любопытством. Оно выражало лёгкое удивление. Тёмные глаза так пытливо смотрели на мир, что, казалось, ничто не могло от них ускользнуть. На ней было белое платье, оно шелестело. Монтэгу чудилось, что он слышит каждое движение её рук в такт шагам, что он услышал даже тот легчайший, неуловимый для слуха звук — светлый трепет её лица, когда, подняв голову, она увидела вдруг, что лишь несколько шагов отделяют её от мужчины, стоящего посреди тротуара.

Ветви над их головами, шурша, роняли сухой дождь листьев. Девушка остановилась. Казалось, она готова была отпрянуть назад, но вместо того она пристально поглядела на Монтэга, и её тёмные, лучистые, живые глаза так просияли, как будто он сказал ей что-то необыкновенно хорошее. Но он знал, что его губы произнесли лишь простое приветствие. Потом, видя, что девушка как заворожённая смотрит на изображение саламандры на рукаве его тужурки и на диск с фениксом, приколотый к груди, он заговорил:

— Вы, очевидно, наша новая соседка?

— А вы, должно быть... — она наконец оторвала глаза от эмблем его профессии, — пожарный? — Голос её замер.

— Как вы странно это сказали.

— Я... я догадалась бы даже с закрытыми глазами, — тихо проговорила она.

— Запах керосина, да? Моя жена всегда на это жалуется. — Он засмеялся. — Дочиста его ни за что не отмоешь.

— Да. Не отмоешь, — промолвила она, и в голосе её прозвучал страх.

Монтэгу казалось, будто она кружится вокруг него, вертит его во все стороны, легонько встряхивает, выворачивает карманы, хотя она не двигалась с места.

— Запах керосина, — сказал он, чтобы прервать затянувшееся молчание. — А для меня он всё равно что духи.

— Неужели правда?

— Конечно. Почему бы и нет?

Она подумала, прежде чем ответить:

— Не знаю. — Потом она оглянулась назад, туда, где были их дома. — Можно я пойду с вами? Меня зовут Кларисса Маклеллан.

— Кларисса... А меня — Гай Монтэг. Ну что ж, идёте. А что вы тут делаете одна и так поздно? Сколько вам лет?

Тёплой ветреной ночью они шли по серебряному от луны тротуару, и Монтэгу чудилось, будто вокруг веет тончайшим ароматом свежих абрикосов и земляники. Он оглянулся и понял, что это невозможно — ведь на дворе осень.

Нет, ничего этого не было. Была только девушка, идущая рядом, и в лунном свете лицо её сияло, как снег.

Он знал, что сейчас она обдумывает его вопросы, соображает, как лучше ответить на них.

— Ну вот, — сказала она, — мне семнадцать лет, и я помешанная. Мой дядя утверждает, что одно неизбежно сопутствует другому. Он говорит: если спросят, сколько тебе лет, отвечай, что тебе семнадцать

и что ты сумасшедшая. Хорошо гулять ночью, правда? Я люблю смотреть на вещи, вдыхать их запах, и бывает, что я брожу вот так всю ночь напролёт и встречаю восход солнца.

Некоторое время они шли молча. Потом она сказала задумчиво:

— Знаете, я совсем вас не боюсь.

— А почему вы должны меня бояться? — удивлённо спросил он.

— Многие боятся вас. Я хочу сказать, боятся пожарных. Но ведь вы, в конце концов, такой же человек...

В её глазах, как в двух блестящих капельках прозрачной воды, он увидел своё отражение, тёмное и крохотное, но до мельчайших подробностей точное — даже складки у рта, — как будто её глаза были двумя волшебными кусочками лилового янтаря, навеки заключившими в себе его образ. Её лицо, обращённое теперь к нему, казалось хрупким матово-белым кристаллом, светящимся изнутри ровным, немеркнущим светом. То был не электрический свет, пронзительный и резкий, а странно успокаивающее, мягкое мерцание свечи. Как-то раз, когда он был ребёнком, погасло электричество, и его мать отыскала и зажгла последнюю свечу. Этот короткий час, пока горела свеча, был часом чудесных открытий: мир изменился,



— Н У ВОТ, — СКАЗАЛА ОНА, — МНЕ СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ, И Я ПОМЕШАННАЯ.
МОЙ ДЯДЯ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОДНО НЕИЗБЕЖНО СОПУТСТВУЕТ ДРУГОМУ.

пространство перестало быть огромным и уютно сомкнулось вокруг них. Мать и сын сидели вдвоём, странно преображённые, искренне желая, чтобы электричество не включалось как можно дольше. Вдруг Кларисса сказала:

— Можно спросить вас?.. Вы давно работаете пожарным?

— С тех пор, как мне исполнилось двадцать. Вот уже десять лет.

— А вы когда-нибудь читаете книги, которые сжигаете?

Он рассмеялся.

— Это карается законом.

— Да-а... Конечно.

— Это неплохая работа. В понедельник жечь книги Эдны Миллей, в среду — Уитмена, в пятницу — Фолкнера. Сжигать в пепел, затем сжечь даже пепел. Таков наш профессиональный девиз.

Они прошли ещё немного. Вдруг девушка спросила:

— Правда ли, что когда-то давно пожарные тушили пожары, а не разжигали их?

— Нет. Дома всегда были несоргаемыми. Поверьте моему слову.

— Странно. Я слыхала, что было время, когда дома загорались сами собой, от какой-нибудь

неосторожности. И тогда пожарные были нужны, чтобы тушить огонь.

Он рассмеялся. Девушка быстро вскинула на него глаза.

— Почему вы смеётесь?

— Не знаю. — Он снова засмеялся, но вдруг умолк. — А что?

— Вы смеётесь, хотя я не сказала ничего смешного. И вы на всё отвечаете сразу. Вы совсем не задумываетесь над тем, что я спросила.

Монтэг остановился.

— А вы и правда очень странная, — сказал он, разглядывая её. — У вас как будто совсем нет уважения к собеседнику!

— Я не хотела вас обидеть. Должно быть, я просто чересчур люблю приглядываться к людям.

— А это вам разве ничего не говорит? — Он легонько похлопал пальцами по числу 451 на рукаве своей угольно-чёрной куртки.

— Говорит, — прошептала она, ускоряя шаги. — Скажите, вы когда-нибудь обращали внимание, как вон там, по бульварам, мчатся ракетные автомобили?

— Меняете тему разговора?

— Мне иногда кажется, что те, кто на них ездит, просто не знают, что такое трава или цветы. Они ведь никогда их не видят иначе, как на большой

скорости, — продолжала она. — Покажите им зелёное пятно, и они скажут: ага, это трава! Покажите розовое — они скажут: а, это розарий! Белые пятна — дома, коричневые — коровы. Однажды мой дядя попробовал проехаться по шоссе со скоростью не более сорока миль в час. Его арестовали и посадили на два дня в тюрьму. Смешно, правда? И грустно.

— Вы слишком много думаете, — заметил Монтэг, испытывая неловкость.

— Я редко смотрю телевизионные передачи, и не бываю на автомобильных гонках, и не хожу в парки развлечений. Вот у меня и остаётся время для всяких сумасбродных мыслей. Вы видели на шоссе за городом рекламные щиты? Сейчас они длиною в двести футов. А знаете ли вы, что когда-то они были длиною всего в двадцать футов? Но теперь автомобили несутся по дорогам с такой скоростью, что рекламы пришлось удлинить, а то бы никто их и прочитать не смог.

— Нет, я этого не знал! — Монтэг коротко рассмеялся.

— А я ещё кое-что знаю, чего вы, наверно, не знаете. По утрам на траве лежит роса.

Он попытался вспомнить, знал ли он это когда-нибудь, но так и не смог и вдруг почувствовал раздражение.

— А если посмотреть туда, — она кивнула на небо, — то можно увидеть человечка на луне.

Но ему уже давно не случалось глядеть на небо...

Дальше они шли молча, она — задумавшись, он — досадуя и чувствуя неловкость, по временам бросая на неё укоризненные взгляды. Они подошли к её дому. Все окна были ярко освещены.

— Что здесь происходит? — Монтэгу никогда ещё не приходилось видеть такое освещение в жилом доме.

— Да ничего. Просто мама, отец и дядя сидят вместе и разговаривают. Сейчас это редкость, всё равно как ходить пешком. Говорила я вам, что дядю ещё раз арестовали? Да, за то, что он шёл пешком. О, мы очень странные люди.

— Но о чём же вы разговариваете?

Девушка засмеялась.

— Спокойной ночи! — сказала она и повернула к дому. Но вдруг остановилась, словно что-то вспомнив, опять подошла к нему и с удивлением и любопытством взгляделась в его лицо.

— Вы счастливы? — спросила она.

— Что? — воскликнул Монтэг.

Но девушки перед ним уже не было — она бежала прочь по залитой лунным светом дорожке. В доме тихо затворилась дверь.

— Счастлив ли я? Что за вздор!

Монтэг перестал смеяться. Он сунул руку в специальную скважину во входной двери своего дома. В ответ на прикосновение его пальцев дверь открылась.

— Конечно, я счастлив. Как же иначе? А она что думает — что я несчастлив? — спрашивал он у пустых комнат. В передней взор его упал на вентиляционную решётку. И вдруг он вспомнил, что там спрячано. Оно как будто поглядело на него оттуда. И он быстро отвёл глаза.

Какая странная ночь и какая странная встреча! Такого с ним ещё не случалось. Разве только тогда в парке, год назад, когда он встретился со стариком и они разговорились...

Монтэг тряхнул головой. Он взглянул на пустую стену перед собой, и тотчас на ней возникло лицо девушки — такое, каким оно сохранилось в его памяти, — прекрасное, даже больше, удивительное. Это тонкое лицо напоминало циферблат небольших часов, слабо светящийся в тёмной комнате, когда, проснувшись среди ночи, хочешь узнать время и видишь, что стрелки точно показывают час, минуту и секунду, и этот светлый молчаливый лик спокойно и уверенно говорит тебе, что ночь проходит, хотя и становится темнее, и скоро снова взойдёт солнце.

— В чём дело? — спросил Монтэг у своего второго, подсознательного «я», у этого чудачка, который временами вдруг выходит из повиновения и болтает неведомо что, не подчиняясь ни воле, ни привычке, ни рассудку.

Он снова взглянул на стену. Как похоже её лицо на зеркало. Просто невероятно! Многих ли ты ещё знаешь, кто мог бы так отражать твой собственный свет? Люди больше похожи на... он помедлил в поисках сравнения, потом нашёл его, вспомнив о своём ремесле, — на факелы, которые полыхают во всю мочь, пока их не потушат. Но как редко на лице другого человека можно увидеть отражение твоего собственного лица, твоих сокровенных трепетных мыслей!

Какой невероятной способностью перевоплощения обладала эта девушка! Она смотрела на него, Монтэга, как зачарованный зритель в театре марионеток, предвосхищала каждый взмах его ресниц, каждый жест руки, каждое движение пальцев.

Сколько времени они шли рядом? Три минуты? Пять? И вместе с тем как долго! Каким огромным казалось ему теперь её отражение на стене, какую тень отбрасывала её тоненькая фигурка! Он чувствовал, что, если у него зачесется глаз, она моргнёт, если чуть напрягутся мускулы лица, она зевнёт ещё раньше, чем он сам это сделает.

И, вспомнив об их встрече, он подумал: «Да ведь, право же, она как будто знала наперёд, что я приду, как будто нарочно поджидала меня там, на улице, в такой поздний час...»

Он открыл дверь спальни.

Ему показалось, что он вошёл в холодный, облицованный мрамором склеп, после того как зашла луна. Непроницаемый мрак. Ни намёка на залитый серебряным сиянием мир за окном. Окна плотно закрыты, и комната похожа на могилу, куда не долетает ни единый звук большого города. Однако комната не была пуста.

Он прислушался.

Чуть слышный комариный звон, жужжание электрической осы, спрятанной в своём уютном и тёплом розовом гнёздышке. Музыка звучала так ясно, что он мог различить мелодию.

Он почувствовал, что улыбка соскользнула с его лица, что она подтаяла, оплыла и отвалилась, словно воск фантастической свечи, которая горела слишком долго и, догорев, упала и погасла. Мрак. Темнота. Нет, он не счастлив. Он не счастлив! Он сказал это самому себе. Он признал это. Он носил своё счастье, как маску, но девушка отняла её и убежала через лужайку,

и уже нельзя постучаться к ней в дверь и попросить, чтобы она вернула ему маску.

Не зажигая света, он представил себе комнату. Его жена, распростёртая на кровати, неукрытая и холодная, как надгробное изваяние, с застывшими глазами, устремлёнными в потолок, словно притянутыми к нему невидимыми стальными нитями. В ушах у неё плотно вставлены миниатюрные «Ракушки», крошечные, с напёрсток, радиоприёмники-втулки, и электронный океан звуков — музыка и голоса, музыка и голоса — волнами омывает берега её бодрствующего мозга. Нет, комната была пуста. Каждую ночь сюда врвался океан звуков и, подхватив Милдред на свои широкие крылья, баюкая и качая, уносил её, лежащую с открытыми глазами, навстречу утру. Не было ночи за последние два года, когда Милдред не уплывала бы на этих волнах, не погружалась бы в них с готовностью ещё и ещё раз.

В комнате было холодно, но Монтэг чувствовал, что задыхается.

Однако он не поднял штор и не открыл балконной двери — он не хотел, чтобы сюда заглянула луна. С обречённостью человека, который в ближайший же час должен погибнуть от удушья, он ощупью направился к своей раскрытой, одинокой и холодной постели.

За мгновение до того, как его нога наткнулась на предмет, лежавший на полу, он уже знал, что так будет. Это чувство отчасти было похоже на то, которое он испытал, когда завернул за угол и чуть не налетел на девушку, шедшую ему навстречу. Его нога, вызвав своим движением колебание воздуха, получила отражённый сигнал о препятствии на пути и почти в ту же секунду ударилась обо что-то. Какой-то предмет с глухим стуком отлетел в темноту.

Монтэг резко выпрямился и прислушался к дыханию той, что лежала на постели в кромешном мраке комнаты: дыхание было слабым, чуть заметным, в нём едва угадывалась жизнь — от него мог бы затрепетать лишь крохотный листок, пушинка, один-единственный волосок. Он всё ещё не хотел впустить в комнату свет с улицы. Вынув зажигалку, он нащупал саламандру, выгравированную на серебряном диске, нажал...

Два лунных камня глядели на него при слабом свете прикрытого рукой огонька, два лунных камня, лежащих на дне прозрачного ручья, — над ними, не задевая их, мерно текли воды жизни.

— Милдред!

Её лицо было, как остров, покрытый снегом; если дождь прольётся над ним, оно не ощутит дождя; если

тучи бросят на него свою вечно движущуюся тень, оно не почувствует тени. Недвижность, немота... Только жужжание ос-втулок, плотно закрывающих уши Милдред, только остекленевший взор и слабое дыхание, чуть колеблющее крылья ноздрей — вдох и выдох, вдох и выдох, — и полная безучастность к тому, что в любую минуту даже и это может прекратиться навсегда.

Предмет, который Монтэг задел ногой, тускло светился на полу возле кровати — маленький хрустальный флакончик, в котором ещё утром было тридцать снотворных таблеток. Теперь он лежал открытый и пустой, слабо поблёскивая при свете крошечного огонька зажигалки.

Вдруг небо над домом заскрежетало. Раздался оглушительный треск, как будто две гигантские руки разорвали вдоль кромки десять тысяч миль чёрного холста. Монтэга словно расколело надвое, словно ему рассекли грудь и разворотили зияющую рану. Над домом пронеслись ракетные бомбардировщики — первый, второй, первый, второй, первый, второй. Шесть, девять, двенадцать — один за другим, один за другим, сотрясая воздух оглушительным рёвом. Монтэг открыл рот, и звук ворвался в него сквозь его оскаленные зубы. Дом сотрясался. Огонёк зажигалки погас. Лунные камни растаяли в темноте. Рука рванулась к телефону.

Бомбардировщики пролетели. Его губы, дрогнув, коснулись телефонной трубки:

— Больницу неотложной помощи.

Шёпот, полный ужаса...

Ему казалось, что от рёва чёрных бомбардировщиков звёзды превратились в пыль и завтра утром земля будет вся осыпана этой пылью, словно диковинным снегом.

Эта нелепая мысль не покидала его, пока он стоял в темноте возле телефона, дрожа всем телом, беззвучно шевеля губами.

Они привезли с собой машину. Вернее, машин было две. Одна пробиралась в желудок, как чёрная кобра на дно заброшенного колодца в поисках застоявшейся воды и загнившего прошлого. Она пила зелёную жижу, всасывала её и выбрасывала вон. Могла ли она выпить всю темноту? Или весь яд, скопившийся там за долгие годы? Она пила молча, по временам захлёбываясь, издавая странные чмокающие звуки, как будто шарил там на дне, что-то выискивая. У машины был глаз. Обслуживающий её человек с бесстрастным лицом мог, надев оптический шлем, заглянуть в душу пациента и рассказать о том, что видит глаз машины. Но человек молчал. Он смотрел,

но не видел того, что видит глаз. Вся эта процедура напоминала рытьё канавы в саду. Женщина, лежащая на постели, была всего лишь твёрдой мраморной породой, на которую наткнулась лопата. Ройте же дальше, запускайте бур поглубже, высасывайте пустоту, если только может её высосать эта подрагивающая, причмокивающая змея!

Санитар стоял и курил, наблюдая за работой машины.

Вторая машина тоже работала. Обслуживаемая вторым, таким же бесстрастным человеком в красновато-коричневом комбинезоне, она выкачивала кровь из тела и заменяла её свежей кровью и свежей плазмой.

— Приходится очищать их сразу двумя способами, — заметил санитар, стоя над неподвижной женщиной. — Желудок — это ещё не всё, надо очистить кровь. Оставьте эту дрянь в крови, кровь, как молотком, ударит в мозг — этак тысячи две ударов, и готово! Мозг сдаётся, просто перестаёт работать.

— Замолчите! — вдруг крикнул Монтэг.

— Я только хотел объяснить, — ответил санитар.

— Вы что, уже кончили? — спросил Монтэг.

Они бережно укладывали в ящики свои машины.

— Да, кончили. — Их нисколько не тронул его гнев. Они стояли и курили, дым вился, лез им в нос

и глаза, но ни один из санитаров ни разу не моргнул и не поморщился. — Это стоит пятьдесят долларов.

— Почему вы мне не скажете, будет ли она здорова?

— Конечно, будет. Вся дрянь теперь вот здесь, в ящиках. Она больше ей не опасна. Я же говорил вам — выкачивается старая кровь, вливается новая, и всё в порядке.

— Но ведь вы — не врачи! Почему не прислали врача?

— Врача-а! — Сигарета подпрыгнула в губах у санитаря. — У нас бывает по девять-десять таких вызовов в ночь. За последние годы они так участились, пришлось сконструировать специальную машину. Нового в ней, правда, только оптическая линза, остальное давно известно. Врач тут не нужен. Двое техников, и через полчаса всё кончено. Однако надо идти, — они направились к выходу. — Только что получили по радио новый вызов. В десяти кварталах отсюда ещё кто-то проглотил всю коробочку со снотворным. Если опять понадобится, звоните. А ей теперь нужен только покой. Мы ввели ей тонизирующее средство. Проснётся очень голодная. Пока!

И люди с сигаретами в тонких, плотно сжатых губах, люди с холодным, как у гадюки, взглядом, захватив с собой машины и шланг, захватив ящик с жидкой

меланхолией и тёмной густой массой, не имеющей названия, покинули комнату.

Монтэг тяжело опустился на стул и взгляделся в лежащую перед ним женщину. Теперь её лицо было спокойно, глаза закрыты. Протянув руку, он ощутил на ладони теплоту её дыхания.

— Милдред, — выговорил он наконец.

«Нас слишком много, — думал он. — Нас миллиарды, и это слишком много. Никто не знает друг друга. Приходят чужие и насильничают над тобой. Чужие вырывают у тебя сердце, высасывают кровь. Боже мой, кто были эти люди? Я их в жизни никогда не видел».

Прошло полчаса.

Чужая кровь текла теперь в жилах этой женщины, и эта чужая кровь обновила её. Как порозовели её щёки, какими свежими и алыми стали губы! Теперь выражение их было нежным и спокойным. Чужая кровь взамен собственной...

Да, если бы можно было заменить также и плоть её, и мозг, и память! Если бы можно было самую душу её отдать в чистку, чтобы её там разобрали на части, вывернули карманы, отпарили, разгладили, а утром принесли обратно... Если бы можно!..

Он встал, поднял шторы и, широко распахнув окна, впустил в комнату свежий ночной воздух.

Было два часа ночи. Неужели прошёл всего час с тех пор, как он встретил на улице Клариссу Маклеллан, всего час с тех пор, как он вошёл в эту тёмную комнату и задел ногой маленький хрустальный флакончик? Один только час, но как всё изменилось — исчез, растаял тот, прежний мир и вместо него возник новый, холодный и бесцветный.

Через залитую лунным светом лужайку до Монтэга долетел смех. Смех доносился из дома, где жили Кларисса, её отец и мать и её дядя, умевший улыбаться так просто и спокойно. Это был искренний и радостный смех, смех без принуждения, и доносился он в этот поздний час из ярко освещённого дома, в то время как все дома вокруг были погружены в молчание и мрак.

Монтэг слышал голоса беседующих людей, они что-то говорили, спрашивали, отвечали, снова и снова сплетая магическую ткань слов.

Монтэг вышел через стеклянную дверь и, не отдавая себе отчёта в том, что делает, пересёк лужайку. Он остановился в тени возле дома, в котором звучали голоса, и ему вдруг подумалось, что если он захочет, то может даже подняться на крыльцо, постучать в дверь и прошептать: «Впустите меня. Я не скажу ни слова. Я буду молчать. Я только хочу послушать, о чём вы говорите».



И ЛЮДИ С СИГАРЕТАМИ В ТОНКИХ, ПЛОТНО СЖАТЫХ ГУБАХ, ЛЮДИ С ХОЛОДНЫМ,
КАК У ГАДЮКИ, ВЗГЛЯДОМ...

Но он не двинулся с места. Он всё стоял, продрогший, окоченелый, с лицом, похожим на ледяную маску, слушая, как мужской голос (это, наверно, дядя) говорит спокойно и неторопливо:

— В конце концов, мы живём в век, когда люди уже не представляют ценности. Человек в наше время — как бумажная салфетка: в неё сморкаются, комкают, выбрасывают, берут новую, сморкаются, комкают, бросают... Люди не имеют своего лица. Как можно болеть за футбольную команду своего города, когда не знаешь ни программы матчей, ни имён игроков? Ну-ка, скажи, например, в какого цвета фуфайках они выйдут на поле?

Монтэг побрёл назад к своему дому. Он оставил окна открытыми, подошёл к Милдред, заботливо укутал её одеялом и лёг в свою постель. Лунный свет коснулся его скул, глубоких морщинок нахмуренного лба, отразился в глазах, образуя в каждом крошечное серебряное бельмо.

Упала первая капля дождя. Кларисса. Ещё капля. Милдред. Ещё одна. Дядя. Ещё одна. Сегодняшний пожар. Одна. Кларисса. Другая. Милдред. Третья. Дядя. Четвёртая. Пожар. Одна, другая, третья, четвёртая, Милдред, Кларисса, дядя, пожар, таблетки снотворного, люди — бумажные салфетки, используй, брось, возьми новую! Одна, другая, третья, четвёртая. Дождь.

Гроза. Смех дяди. Раскаты грома. Мир обрушивается потоками ливня. Пламя вырывается из вулкана. И всё кружится, несётся, бурной, клокочущей рекой устремляется сквозь ночь навстречу утру...

— Ничего больше не знаю, ничего не понимаю, — сказал Монтэг и положил в рот снотворную таблетку. Она медленно растаяла на языке.

Утром в девять часов постель Милдред была уже пуста. Монтэг торопливо встал, с бьющимся сердцем побежал по коридору. В дверях кухни он остановился.

Ломтики поджаренного хлеба выскакивали из серебряного тостера. Тонкая металлическая рука тут же подхватывала их и окунала в растопленное масло.

Милдред смотрела, как подрумяненные ломтики ложатся на тарелку. Уши её были плотно заткнуты гудящими электронными пчёлами. Подняв голову и увидев Монтэга, она кивнула ему.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил он. За десять лет знакомства с радиовтулками «Ракушка» Милдред научилась читать по губам. Она снова кивнула головой и вложила в тостер свежий ломтик хлеба.

Монтэг сел.

— Не понимаю, почему мне так хочется есть, — сказала его жена.

— Ты... — начал он.

— Ужас, как проголодалась!

— Вчера вечером...

— Я плохо спала. Отвратительно себя чувствую, — продолжала она. — Господи, до чего хочется есть! Не могу понять почему...

— Вчера вечером... — опять начал он. Она рассеянно следила за его губами.

— Что было вчера вечером?

— Ты разве ничего не помнишь?

— А что такое? У нас были гости? Мы кутили? Я сегодня словно с похмелья. Боже, до чего хочется есть! А кто у нас был?

— Несколько человек.

— Я так и думала. — Она откусила кусочек поджаренного хлеба. — Боли в желудке, но голодна ужасно. Надеюсь, я не натворила вчера каких-нибудь глупостей?

— Нет, — сказал он тихо.

Тостер выбросил ему ломтик пропитанного маслом хлеба. Он взял его со странным смущением, как будто ему оказали любезность.

— Ты тоже неважно выглядишь, — заметила его жена.

Во второй половине дня шёл дождь, всё кругом потемнело, мир словно затянуло серой пеленой. Он стоял в передней своего дома и прикреплял к куртке значок, на котором пылала оранжевая саламандра. Задумавшись, он долго глядел на вентиляционную решётку. Его жена, читавшая сценарий в телевизионной комнате, подняла голову и посмотрела на него.

— Смотрите-ка! Он думает!

— Да, — ответил он. — Мне надо поговорить с тобой. — Он помедлил. — Вчера ты проглотила все таблетки снотворного, все, сколько их было в флаконе.

— Ну да? — удивлённо воскликнула она. — Не может быть!

— Флакон лежал на полу пустой.

— Да не могла я этого сделать. Зачем бы мне? — ответила она.

— Может быть, ты приняла две таблетки, а потом забыла и приняла ещё две, и опять забыла и приняла ещё, а после, уже одурманенная, стала глотать одну за другой, пока не проглотила все тридцать или сорок — всё, что было во флаконе.

— Чепуха! Зачем бы я стала делать такие глупости?

— Не знаю, — ответил он.

Ей, видимо, хотелось, чтобы он скорее ушёл, — она этого даже не скрывала.

— Не стала бы я это делать, — повторила она. — Ни за что на свете.

— Хорошо, пусть будет по-твоему, — ответил он.

— Как сказала леди, — добавила она и снова углубилась в чтение сценария.

— Что сегодня в дневной программе? — спросил он устало.

Она ответила, не поднимая головы:

— Пьеса. Начинается через десять минут с переходом на все четыре стены. Мне прислали роль сегодня утром. Я им предложила кое-что, это должно иметь успех у зрителя. Пьесу пишут, опуская одну роль. Совершенно новая идея! Эту недостающую роль хозяйки дома исполняю я. Когда наступает момент произнести недостающую реплику, все смотрят на меня. И я произношу эту реплику. Например, мужчина говорит: «Что ты скажешь на это, Элен?» — и смотрит на меня. А я сижу вот здесь, как бы в центре сцены, видишь? Я отвечаю... я отвечаю... — Она стала водить пальцем по строчкам рукописи. — Ага, вот: «По-моему, это просто великолепно!» Затем они продолжают без меня, пока мужчина не скажет: «Ты согласна с этим, Элен?» Тогда я отвечаю: «Ну, конечно, согласна». Правда, как интересно, Гай?

Он стоял в передней и молча смотрел на неё.

— Право же, очень интересно, — снова сказала она.

— А о чём говорится в пьесе?

— Я же тебе сказала. Там три действующих лица — Боб, Рут и Элен.

— А!

— Это очень интересно. И будет ещё интереснее, когда у нас будет четвёртая телевизорная стена. Как ты думаешь, долго нам ещё надо копить, чтобы вместо простой стены сделать телевизорную? Это стоит всего две тысячи долларов.

— Треть моего годового заработка.

— Всего две тысячи долларов, — упрямо повторила она. — Не мешало бы хоть изредка и обо мне подумать. Если бы мы поставили четвёртую стену, эта комната была бы уже не только наша. В ней жили бы разные необыкновенные, занятые люди. Можно на чём-нибудь другом сэкономить.

— Мы и так уж на многом экономим, с тех пор как уплатили за третью стену. Если помнишь, её поставили всего два месяца назад.

— Только два месяца? — Она остановила на нём задумчивый взгляд. — Ну, до свидания, милый.

— До свидания, — ответил он, направляясь к выходу, но вдруг остановился и обернулся. — А какой конец в этой пьесе? Счастливый?

— Я ещё не дочитала до конца.

Он подошёл, взглянул на последнюю страницу, кивнул головой, сложил сценарий, вернул его жене и вышел на мокрую от дождя улицу.

Дождь уже почти перестал. Девушка шла посередине тротуара, подняв голову, и редкие капли дождя падали на её лицо. Увидев Монтэга, она улыбнулась.

— Здравствуйте.

Монтэг ответил на приветствие, затем спросил:

— Что это вы делаете? Ещё что-то придумали?

— Ну да, я же сумасшедшая. Как приятно, когда дождь падает тебе на лицо! Я люблю гулять под дождём.

— Мне бы не понравилось, — ответил он.

— А может, и понравилось бы, если бы попробовали.

— Я никогда не пробовал.

Она облизнула губы.

— Дождик даже на вкус приятен.

— Всегда вам хочется что-то попробовать, — сказал он. — Хоть раз, да попробовать.

— А бывает, что и не раз, — ответила она и взглянула на то, что прятала в руке.

— Что там у вас? — спросил он.

— Одуванчик. Последний, наверно. Вот уж не думала, что найду одуванчик так поздно осенью. Теперь нужно его взять и потереть под подбородком.

Слышали когда-нибудь об этом? Смотрите! — Смеясь, она провела цветком у себя под подбородком.

— Зачем?

— Если останется след — значит, я влюблена.

Ну как?

Что было делать? Он взглянул на её подбородок.

— Ну? — спросила она.

— Жёлтый стал.

— Чудесно! А теперь проверим на вас.

— У меня ничего не выйдет.

— Посмотрим. — И, не дав ему опомниться, она сунула одуванчик ему под подбородок. Он невольно отшатнулся, а она рассмеялась. — Стойте смирно!

Оглядев его подбородок, она нахмурилась.

— Ну как? — спросил он.

— Какая жалость! — воскликнула она. — Вы ни в кого не влюблены!

— Нет, влюблён.

— Но этого не видно.

— Я влюблён, очень влюблён. — Он попытался вызвать в памяти чей-нибудь образ, но безуспешно. — Я влюблён, — упрямо повторил он.

— Не смотрите так! Пожалуйста, не надо!

— Это ваш одуванчик виноват, — сказал он. — Вся пыльца сошла вам на подбородок. А мне ничего не осталось.

— Ну вот, я вас расстроила? Я вижу, что расстроила. Простите, я, право, не хотела... — Она легонько тронула его за локоть...

— Нет-нет, — поспешно ответил он. — Я ничего.

— Мне нужно идти. Скажите, что вы меня прощаете. Я не хочу, чтобы вы на меня сердились.

— Я не сержусь. Так, чуточку огорчился.

— Я иду к своему психиатру. Меня заставляют ходить к нему. Ну я и придумываю для него всякую всячину. Не знаю, что он обо мне думает, но он говорит, что я настоящая луковица. Приходится облупливать слой за слоем.

— Я тоже склонен думать, что вам нужен психиатр, — сказал Монтэг.

— Неправда. Вы этого не думаете.

Он глубоко вздохнул, потом сказал:

— Верно. Я этого не думаю.

— Психиатр хочет знать, почему я люблю бродить по лесу, смотреть на птиц, ловить бабочек. Я когда-нибудь покажу вам свою коллекцию.

— Хорошо. Покажите.

— Они то и дело спрашивают, чем это я всё время занята. Я им говорю, что иногда просто сижу и думаю. Но не говорю, о чём. Пусть поломают голову. А иногда я им говорю, что люблю, откинув



— **Е** СМИ ОСТАНЕТСЯ СЛЕД — ЗНАЧИТ, Я ВЛЮБЛЕНА.
— НУ КАК?

назад голову, вот так, ловить на язык капли дождя. Они на вкус как вино. Вы когда-нибудь пробовали?

— Нет, я...

— Вы меня простили? Да?

— Да. — Он на минуту задумался. — Да, простил. Сам не знаю почему. Вы какая-то особенная: на вас обижаешься и вместе с тем вас легко простить. Вы говорите, вам семнадцать лет?

— Да, будет через месяц.

— Странно. Очень странно. Моей жене — тридцать, но иногда мне кажется, что вы гораздо старше её. Не понимаю, отчего у меня такое чувство.

— Вы тоже какой-то особенный, мистер Монтэг. Временами я даже забываю, что вы пожарный. Можно опять рассердить вас?

— Ладно, давайте.

— Как это началось? Как вы попали туда? Как выбрали эту работу и почему именно эту? Вы не похожи на других пожарных. Я видала некоторых — я знаю. Когда я говорю, вы смотрите на меня. Когда я вчера заговорила о луне, вы взглянули на небо. Те, другие, никогда бы этого не сделали. Те просто ушли бы и не стали меня слушать. А то и пригрозили бы мне. У людей теперь нет времени друг для друга. А вы так хорошо отнеслись ко мне. Это редкость.

Поэтому мне странно, что вы пожарный. Как-то не подходит к вам.

Ему показалось, что он раздвоился, раскололся пополам и одна его половина была горячей как огонь, а другая — холодной как лёд, одна была нежной, другая — жёсткой, одна — трепетной, другая — твёрдой как камень. И каждая половина его раздвоившегося «я» старалась уничтожить другую.

— Вам пора. Не опоздайте к своему психиатру, — сказал он.

Она убежала, оставив его на тротуаре под дождём. Он долго стоял неподвижно. Потом, сделав несколько медленных шагов, вдруг запрокинул голову и, подставив лицо дождю, на мгновение открыл рот...

Механический пёс спал и в то же время бодрствовал, жил и в то же время был мёртв в своей мягко гудящей, мягко вибрирующей, слабо освещённой конуре в конце тёмного коридора пожарной станции. Бледный свет ночного неба проникал через большое квадратное окно, и блики играли то тут, то там на медных, бронзовых и стальных частях механического зверя. Свет отражался в кусочках рубинового стекла, слабо переливался и мерцал на тончайших, как капилляры, чувствительных нейлоновых волосках

в ноздрах этого странного чудовища, чуть заметно вздрагивающего на своих восьми паучьих, подбитых резиной лапах.

Монтэг соскользнул вниз по бронзовому шесту и вышел поглядеть на спящий город. Тучи рассеялись, небо было чисто. Он закурил и, вернувшись в коридор, нагнулся и заглянул в конуру. Механический пёс напоминал гигантскую пчелу, возвратившуюся в улей с поля, где нектар цветов напоён ядом, рождающим безумие и кошмары. Тело пса напиталось этим густым сладким дурманом, и теперь он спал, сном пытаясь побороть злую силу яда.

— Здравствуй, — прошептал Монтэг, как всегда зачарованно глядя на мёртвого и в то же время живого зверя.

По ночам, когда становилось скучно — а это бывало каждую ночь — пожарные спускались вниз по медным шестам и, настроив тикающий механизм обонятельной системы пса на определённый запах, пускали в подвал крыс, цыплят, а иногда кошек, которых всё равно предстояло утопить. Держали пари, которую из жертв пёс схватит первой.

Через несколько секунд игра заканчивалась. Цыплёнок, кошка или крыса, не успев пробежать и несколько метров, оказывались в мягких лапах пса, и четырехдюймовая стальная игла, высунувшись,